

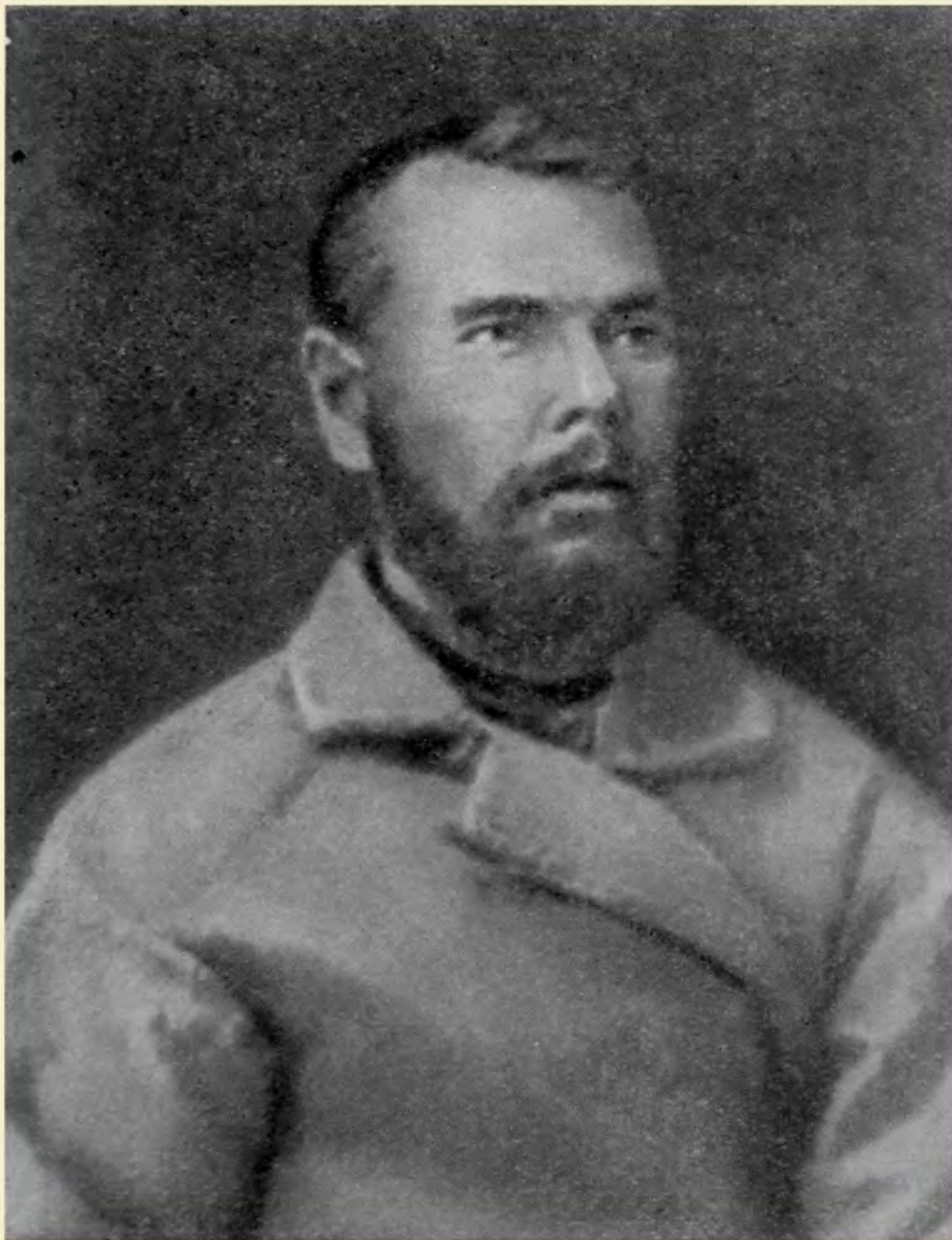
В.Г. ГЕРАСИМОВ

Жизнь русского рабочего

Воспоминания

СОЦЭКГИЗ • 1959

С О Ц Э К Г И З
1959



В. Г. Герасимов
С фотографии 1875 г.

В. Г. ГЕРАСИМОВ

Жизнь
русского
РАБОЧЕГО

Воспоминания

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1959

Предисловие и примечания
Б. С. ИТЕНБЕРГА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя Василия Герасимовича Герасимова (1852—1892) можно поставить в один ряд с именами таких выдающихся борцов за рабочее дело, как Петр Алексеев, Степан Халтурин, Виктор Обнорский и др. Эти мужественные революционеры вели героическую борьбу с ненавистным самодержавным строем в 70-х годах XIX века. Рабочее движение в то время делало лишь первые шаги. Сознательных рабочих-революционеров было тогда немного. Тем больший интерес для нас представляют воспоминания Василия Герасимова — эти первые в русской литературе мемуары, *написанные рукою рабочего-революционера*.

Василий Герасимович Герасимов родился в Петербурге в начале января 1852 г. Через две недели после рождения он был помещен в Петербургский воспитательный дом, а оттуда отдан в семью финского крестьянина.

Несколько раз менялись воспитатели у маленького Васи Герасимова; в чужих семьях проходило его без-

радостное детство. Но и оно скоро кончилось. В 1864 г. 12-летнего Василия Герасимова вместе с другими питомцами воспитательного дома отправили на работу в город Нарву на Кренгольмскую мануфактуру. Началась полная мучений жизнь русского рабочего. Невыносимо тяжелы были условия работы на Кренгольмской мануфактуре. О них рассказывает В. Герасимов в своих воспоминаниях. Рабочие полностью зависели от произвола хозяев. Администрация мануфактуры и мастера измывались над ними. Об охране труда не было и речи; массовые несчастные случаи были частым явлением на фабрике.

Беспросветная жизнь, каторжный труд усиливали в рабочих ненависть к эксплуататорам. Но правильных путей борьбы они тогда еще не знали. В ноябре 1870 г. Василий Герасимов пытался бежать с Кренгольмской мануфактуры. Его схватили в Петербурге и возвратили на фабрику. Настоящей школой революционной борьбы явилась для Герасимова знаменитая Кренгольмская стачка, вспыхнувшая в 1872 г. Это была неслыханная по своим масштабам стачка: в ней принимало участие около 5 тыс. рабочих *. Кренгольмская стачка знаменательна также и тем, что это было первое совместное *массовое* выступление русских и эстонских рабочих, объединившихся в борьбе за свои классовые интересы. В ходе этой борьбы у рабочих разных национальностей воспитывалось чувство классовой солидарности. Об этом ясно сказал на допросе рабочий Соколов: «Русские ткачи, если и приставали к эстонцам, объявив, что

* В воспоминаниях В. Герасимова число участников стачки преувеличено.

они оставят работу, то потому, что сознали справедливость требований своих товарищей» *.

Борьба кренгольмских рабочих взволновала трудящихся Петербурга. Петербургский обер-полицмейстер Трепов доносил начальству: «О нарвских беспорядках и бессилии войск толки ходят в столице, что весьма вредно действует на фабричных рабочих» **. Воспоминания Герасимова о стачке являются наиболее ценным источником об этом грандиозном для того времени выступлении рабочих.

В начале 1873 г. Герасимов приезжает в Петербург. В это время в столице активную деятельность среди рабочих развернули революционные народники. Они организовывали кружки, в которых вели общеобразовательные занятия с рабочими, объясняли им причины тяжелого положения народных масс России и знакомили с международным революционным движением.

Но, втягивая таким образом рабочих в революционную деятельность, народники не преследовали классовых пролетарских задач. Революционная народническая интеллигенция рассчитывала тогда поднять крестьянство на социалистическую революцию. А для этого ей нужны были помощники, которые могли бы вести революционную пропаганду среди крестьян. Эти помощники и должны были выходить из рабочих кружков. В один из таких кружков, организованный народником С. С. Синегубом, и хотел вступить В. Герасимов. Но Синегуб 12 ноября 1873 г. был арестован.

* «Рабочее движение в России в XIX веке», т. II, ч. I, М. 1950, стр. 325.

** Там же, стр. 329.

Летом 1874 г. Василий Герасимов познакомился со студентом Петербургского университета В. М. Дьяковым. Это был смелый и деятельный революционер. Он вел пропаганду среди рабочих на даче Базунова, где жил В. Герасимов. Вячеслав Дьяков много сделал для того, чтобы разъяснить передовым рабочим ход капиталистического развития общества. Составленная им программа занятий в рабочих кружках, несмотря на некоторое влияние идей анархизма, свидетельствовала о попытках преодолеть взгляды народников. Эта программа призывала к выяснению классовых противоречий капиталистического общества, состоящего из «людей неработающих и людей работающих, эксплуататоров и эксплуатируемых» *. Революционное движение рабочих стран Западной Европы в программе сопоставлялось со стачечной борьбой рабочих России. Предусматривалось и ознакомление с деятельностью I Интернационала.

В 1875 г. Герасимов работал на фабрике Чешера. Здесь он и его товарищ, ткач Диомид Александров, вели революционную пропаганду среди рабочих. Они указывали на невыносимые условия жизни трудового народа; читая рабочим революционные брошюры о Разине и Пугачеве, Герасимов высоко оценивал в народном движении роль Пугачева, который стоял за простой народ и расправлялся с помещиками **.

Одновременно Герасимов и Александров вели рабо-

* «Рабочее движение в России в XIX веке», т. II, ч. 2, М. 1950, стр. 57.

** См. «Государственные преступления в России», т. I, СПб. 1906, стр. 322.

ту и среди солдат лейб-гвардии Московского полка, стремясь склонить их на сторону революционного народа. Александров рассказывал солдатам, что в России скоро произойдет революция, так как «мужиков больше, чем солдат: солдат 800 тыс., а мужиков 82 млн.; да солдаты и не пойдут против отцов и матерей, а перейдут на их сторону» *. Герасимов в своих воспоминаниях, написанных в царское время, естественно, очень мало говорит о себе как о пропагандисте-революционере. Но история сохранила факты о его революционной деятельности. Мы знаем, например, что Герасимов читал солдатам революционную прокламацию «Чтой-то, братцы, как тяжко живетя нашему брату на русской земле».

«Много нас, братцы, — говорилось в этой прокламации, — на святой Руси, велика наша сила мужицкая, сила рабочая; и работаем мы круглый год с утра до ночи в городах и в селах, и на фабриках; мы сеем рожь и пшеницу, роем золото, куем железо, ткем полотно, сукна тонкие и бархаты, строим дома каменные и дворцы мраморные, а живем мы сами, братцы, в избах дымных да конурах собачьих, а едим мы, братцы, кору древесную да мякину голодную, и одеты мы, братцы, в поневу дырявую да сермягу холодную». Чтобы улучшить жизнь трудящихся, прокламация призывала их объединиться и расправиться с царем, барами и чиновниками.

Читая своим слушателям революционные брошюры и прокламации, Герасимов находил примеры в окру-

* Центральный Государственный Исторический архив в Москве, ф. ОППС, д. 107, оп. 1, 1875, л. 6 об.

жающей жизни, в страданиях трудового люда, изнемогавшего в работе на господ и начальство. «Где простой человек, — говорил Герасимов, — мог бы заработать 10 или 20 руб., он зарабатывает только 3 или 4 рубля, а остальные идут для начальства и для господ» *. Он обращался к солдатам с горячим призывом: во время народного восстания не выступать против народа, а перейти на сторону угнетенных масс.

Пропаганда среди солдат не была безрезультатной. Д. Александров вспоминает: «Солдаты передавали, что в казармах находятся 60 пушкарей, на которых мы можем рассчитывать как на своих людей. Конечно, тут много было фантазии, но нам хотелось верить, что это так и есть, и как-то в тесном кружке мы строили такой план восстания: 30 пушек поставим на Николаевском мосту, а 30 — на Тучковом и начнем обстреливать царский дворец...» **

Жандармы дознались о том, что среди солдат ведется революционная пропаганда. В казармах Московского полка был произведен обыск. Над Герасимовым нависла угроза ареста. 11 апреля он сделал попытку уехать в Выборг, но на Финляндском вокзале был схвачен жандармами с нелегальной литературой и паспортом на имя крестьянина В. П. Трофимова. Вскоре были арестованы и товарищи Герасимова по революционной пропаганде.

17 июля 1875 г. состоялся суд. Как гласил главный пункт обвинительного заключения, В. Герасимов и его

* «Государственные преступления в России», т. I, стр. 328

** Воспоминания Д. А. Александрова, — «Каторга и ссылка», 1926, № 4 (25), стр. 130.

товарищи обвинялись «в злоумышленном распространении сочинений преступного содержания не только между обыкновенными гражданами с целью возбудить их к бунту, но... и между некоторыми нижними чинами лейб-гвардии Московского полка с целью их привлечь к участию в насильственном восстании скопом и заговором против государя и государства».

Суд, как узнает читатель из воспоминаний Герасимова, приговорил главных деятелей революционной пропаганды к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы в крепостях. Герасимов был приговорен к 9 годам каторги.

Очень скупо повествует Герасимов о тех страданиях, которые пришлось претерпеть ему за стенами царских каторжных тюрем. «О них, — пишет он, — довольно красноречиво говорит масса наших товарищей, нашедших в этих стенах преждевременную могилу или сошедших с ума». Осужденный на каторгу, политический узник в глазах царских тюремщиков не был человеком. Товарищ Герасимова по заключению А. В. Долгушин рассказывает о таком эпизоде. Однажды Герасимов попросил у надзирателя воды, сказав при этом «дай» вместо «дайте». «Ты как смеешь буянить?» — обращается к Герасимову тюремный смотритель. — «Да я, г. смотритель, не буяню». — «А как ты обращаешься с надзирателем? Разве ты смеешь надзирателю говорить «ты»? Ты знаешь, что он твой непосредственный начальник. Ты обязан относиться к нему с полным благоговением и уважением. Слышишь? С полным благоговением! Ты не должен забывать, что ты не человек, а каторжник; не на воле, а на каторге. Ты не имеешь права требовать, чтобы к тебе относились, как к

человеку!.. Смотри! Если только... ты...: еще... раз позволишь себе такие выходки, то (здесь смотритель задыхается от злости и гнева) я тебе шкуру всю сдеру! Понимаешь? С головы до пяток, всю, всю шкуру спущу! Помни, помни это! Всю шкуру!» *

Несколько лет Василий Герасимов томился в пересыльных тюрьмах европейской части России. В мае 1881 г. его вместе с другими заключенными отправили в Сибирь, в каторжную тюрьму на Каре, куда он прибыл в феврале 1882 г. В 1883 г. Герасимов вышел из тюрьмы на поселение в Якутской области. Но здоровье замечательного рабочего-революционера было уже сильно подорвано. 28 марта 1892 г. 40 лет от роду Василий Герасимович Герасимов умер в якутской больнице.

Герасимов написал свои воспоминания по просьбе революционерки Веры Павловны Рогачевой, с которой он познакомился на пути в Сибирь. Ее маленькому сыну Сереже он и посвятил эти свои записи.

Впервые воспоминания В. Г. Герасимова под заглавием «Питомец воспитательного дома» были опубликованы в 1906 г. в журнале «Былое» № 6 с подлинной рукописи, представленной в редакцию братом В. П. Рогачевой — Е. П. Карповым. В том же году они появились отдельным изданием. Затем под названием «Жизнь русского рабочего полвека тому назад» они были переизданы уже после Октябрьской революции, в 1919, 1923 и 1924 гг. В настоящем издании

* А. В. Долгушин, *Заживо погребенные*. (Из воспоминаний о политической каторге 80-х годов), П. 1920, стр. 62.

воспроизведен текст первого советского издания 1919 г.*

Воспоминания В. Г. Герасимова — волнующая повесть о тяжелой жизни русского рабочего во времена царской России и о мужественной борьбе первых рабочих-революционеров. Прочитать эту повесть должны все советские люди — рабочие, колхозники, интеллигенты, учащиеся. Она должна глубоко запасть в сердца нашей молодежи. Нам, советским людям, живущим в социалистическую эпоху, почти невероятными кажутся картины жизни рабочих, нарисованные бесхитростным пером В. Г. Герасимова. Мы глубоко чтим имена первых мужественных борцов за рабочее дело, этих героев духа, самоотверженно бросавших вызов силам царизма.

Правдивые, трогательно простые строки воспоминаний В. Г. Герасимова рождают ненависть к эксплуататорскому строю прошлого, учат нас сильнее ценить настоящее, достигнутое великой борьбой нашего народа.

* «Жизнь русского рабочего полвека тому назад. Записки социалиста-рабочего Василия Герасимова». Издательство «Былое», Петроград 1919, 28 стр. Отрывок из воспоминаний В. Герасимова, касающийся главным образом Кренгольмской стачки, помещен в сборнике документов и материалов «Кренгольмская стачка 1872 г.», Таллин 1952, стр. 190—197.

*Посвящаю милому
и дорогому другу Сереже.*

I

Как известно, в Петербурге существует воспитательный дом на Гороховой улице у Красного моста, в который отдают на воспитание законных и незаконных детей. 14 января 1852 года, спустя две недели после моего рождения, в этот дом попал и я; туда принесла меня родная мать, как это я узнал впоследствии.

В этом доме я пробыл не более двух недель, так как детей обыкновенно не оставляют там, а отдают на воспитание по русским и чухонским деревням.

Таким образом я попал в Финляндию к одному бедному крестьянину: сюда меня привезли 30 января 52 года, т. е. спустя две недели, как мать оставила меня в воспитательном доме. Здесь мне жилось плохо, так

как меня кормили не грудью, а коровьим молоком. Трех лет я лишился той женщины, которую я называл матерью или названной матерью. По смерти ее я остался на руках у овдовевшего старика.

На седьмом году моей жизни ко мне приезжала из Петербурга несколько раз моя родная мать и привозила мне разные подарки. Она не умела говорить на чухонском языке, а я не умел по-русски.

Помню только, как она гладила меня по голове и плакала, и ее слезы оставили во мне на всю мою жизнь глубокое горькое впечатление... С тех пор я ее не видал.

Когда мне было семь лет, я лишился первого своего воспитателя, этого доброго старика, и остался совершенно один.

Я попал к доктору в лазарет. Лазарет — это госпиталь, который принадлежит к воспитательному дому, и в нем помещаются больные дети.

Здесь живет доктор, которому препоручен надзор не только над теми питомцами, которые находятся на излечении у него в лазарете, но и над всеми живущими в окрестностях, по деревням. Последним он делает смотр раз в месяц, причем следит как за здоровьем детей, так и за тем, чтобы воспитатели их обращались с ними прилично.

Прожив у доктора около недели, я был отправлен в другую деревню, где доктор подыскал мне нового вос-

питателя в лице одного богатого крестьянина; семья этого второго моего воспитателя состояла только из мужа и жены, оба они были ко мне очень добры. Но я здесь пробыл недолго: крестьянин, взявший меня, погорел, и доктор опять поместил меня на новое место, к одному доброму пастору... Пастор учил меня грамоте. Мне было 11 лет, когда однажды утром разбудила меня сестра пастора и объявила роковое известие, что меня отправляют в Петербург и что я должен с ними проститься навсегда. Меня стали одевать в дорожную одежду...

Я опять в лазарете.

В лазарете много детей и воспитателей; все они плачут и прощаются. Меня провожали жена пастора и его четыре сына, которые были моими друзьями. Они со слезами просили господина доктора оставить меня еще у них хоть на один год, но доктор сказал, что оставить не может, так как на генеральном осмотре я уже был отмечен самим Безобразовым, и, засмеявшись, прибавил, что «Васе пора жениться, и поэтому, мол, его надо увезти к русским». Нас стали садить в телегу. Жена ректора подошла ко мне и стала давать наставления, чтобы я не учился врать, красть, курить табак, пить вино и т. п. Наконец, мы расстались... Прощайте, добрые люди...

Я должен отдать справедливость финляндцам за их человеческое обращение с питомцами: этот народ в

высшей степени добродушный. Хотя я был проказник и упрям, но наказан был всего лишь два раза и то слабо, а виноват я был много. Однажды, например, со злым умыслом я пошел топтать рожь, но за мною шла девушка, которая, заметив мою проделку, хотела схватить меня, но я отчаянно сопротивлялся ей и укусил ее за грудь и, вырвавшись, спрятался в одном старом погребке, но меня скоро нашли и тут же наказали. Другой раз дело было так. Я ушел в соседнюю деревню и там остался ночевать; вся деревня искала меня всю ночь в лесу; за это, когда я явился домой, то получил несколько ударов прутиком по спине от названной матери. Бывает иногда, что их родные дети жалуются на то, что родители обращаются с питомцами лучше, чем с ними, но на это обыкновенно им отвечают: «Вы наши, родные, вы всегда при нас будете, а он чужой — сегодня здесь, а завтра нет».

Дорогой мне было скучно, хотя нас было много, мальчиков и девушек, и все были одного возраста. Мы ехали ночью, потому что наше начальство боялось побегов. Днем же спали или рассуждали о том, куда нас отправят и как будем жить у новых русских воспитателей.

Мы приехали в воспитательный дом. Здесь нам объявили, что мы будем отправлены в город Нарву на Кренгольмскую мануфактуру¹, где мы, согласно с контрактом, заключенным нашим начальством с хо-

зьяном этой фабрики, должны прослужить десять лет.

II

На фабрику мы прибыли в первых числах июля 1864 г., здесь нас поместили в седьмой казарме: девушек в верхнем этаже, а нас — в нижнем. Я вместе с 30-ю другими мальчиками попал в № 3. Как только мы разместились в своем новом жилище, к нам явился учитель и произвел нам нечто вроде экзамена, заставляя нас молиться по православному обряду. Но так как я молиться по православному не умел, то он наградил меня несколькими пощечинами и объявил, что если я завтра не буду хорошо молиться, то получу розги.

По уходе учителя я долго зубрил при помощи одного из русских питомцев молитвы, стараясь избавиться от наказания, которым грозил мне учитель. Выучив молитвы, я подошел к своей кровати и оглянулся. Комната наша была довольно обширная, посреди нее стояла русская печка, к одной из стен был привешен большой медный рукомо́йник, а вдоль стен стояли наши койки. Койки наши были железные, на них — соломенные тюфяки и такие же подушки, простыни, наволочки и суконные одеяла. Рассмотрев все это, я лег на свою кровать, но мне долго не спалось на своей новой

постели. Воспоминание за воспоминанием пробуждались в моей памяти. Я вспомнил о тех добрых воспитателях, с которыми я так неожиданно должен был расстаться; вспомнил о своей родной матери, о ее ласках и тех горючих слезах, которые она проливала, когда приезжала ко мне. Предо мной пронеслось все мое прошлое... Но что же будет дальше? — думал я. Суровый прием, оказанный нам на первых порах, угрозы учителя и те пощечины, которыми он меня наградил при первой же встрече, не порождали розовых надежд, и будущее мне рисовалось в самых мрачных красках. Мне было грустно...

И как хотелось мне хоть еще раз увидеть своих добрых воспитателей, свою родную мать, как хотелось горячо, горячо прижать их к своей наболевшей груди, рассказать им о своем безвыходном положении, поделиться с ними своим горем. Но увы! Их не было... И я заплакал горькими детскими слезами...

На другой день утром я встал с тяжелой головой. Убравши свою постель, я пошел на двор. Здесь было много мальчиков и девушек; с последними нам строго воспрещалось говорить или иметь какие-нибудь отношения. Все мы были печальны и скучны, нигде не было видно детской веселости.

На этом же дворе помещалось, кроме нашей, еще шесть других казарм, в которых жил вольный народ.

Нас из Финляндии было 200 человек: 100 мальчиков и 100 девушек, русских было столько же, всех вместе — 400 человек. На третий день нас повели на фабрику и дали нам черные номера. Черными у нас назывались номера, населенные прядильщиками; назывались они так в отличие от белых номеров, где жили ткачи, которые вследствие условий работы могли одеваться и содержать свои номера значительно чище первых. Мы почти все попали в черные номера, т. е. в прядильщики, только четверо счастливых попали в ткачи. Мне дали черный номер — № 107-й; с этих пор я стал ходить на работу.

На работу нас поднимали в 4 часа утра. Я работал на ватерных машинах, и мне приходилось стоять все время на одной ноге, что было очень утомительно. Этот адский труд продолжался до 8 часов вечера.

Измученные этой работой до полного истощения сил, мы принуждены были в 9 часов вечера идти еще в школу, где нас учили или, вернее сказать, мучили до 11 часов. В школе нас обучали письму, чтению и арифметике. Но, конечно, учение наше шло очень плохо: до учения ли нам было в этот поздний час, тем более шло оно плохо, что наш учитель принадлежал к типу тех педагогов, которые признают кулак да розгу лучшими средствами для воспитания детей. Мы очень боялись учителя, бывали случаи, что некоторые из нас падали в обморок, когда учитель набрасывался на них с под-

нятыми кулаками. Усталые, измученные, дрожа каждую минуту в ожидании толчков и затрещин, мы ровно ничего не выносили из школы. Я помню, например, как один ученик делал у нас вычитание так: $2-2=2$. И этот ученик учился уже 8 лет.

По праздникам и по воскресеньям к нам приезжал священник и учил нас закону божью.

По воскресным дням и по вечерам по окончании работ я не смел выйти никуда без билета, который должен был брать у учителя. Он, выдавая билет, обыкновенно говорил: «Смотри, я отпускаю тебя на час, если ты просрочишь, то — в карцер или розги». В карцер сажали на хлеб и на воду, а розог давали от 25 до 100. Розгами били в казарме, и при этой операции находились учитель, управляющий Александр Егорович Фрей и десятник, а наказывали сторожа. На фабрике же наказывали директор и его помощник Василий Васильевич Тринкин. Эти лица были настоящие тираны, особенно отличались Тринкин и учитель. На фабрике наказывали плетью. В конторе постоянно у дверей стоял палач Голянищев, который бил по приказанию начальников. Я привожу несколько фактов, как били меня самого. Один раз я нечаянно сломал щетку, за что получил 25 ударов плетью, другой раз — 50 ударов за то, что проехал на подъемной машине с 4 этажа в третий; меня били так сильно, что на моей спине не осталось белого места — вся была черная, как сапог.

В карцере я сидел несколько раз: так однажды я попал туда за то, что не успел на поверку. Не стану говорить о том, сколько я головомоек получил от десятников и от других... Скажу только, что на фабрике мастера и подмастерья явно убивали детей. Я сам видел, как один подмастерье бил одну девушку, которая на другой же день слегла в больницу и там умерла. Детей ставили часа на два на колени на осколки старых кирпичей и на соль, таскали за волосы, били ремнями... Словом сказать, делали с ними все, что только хотели.

Пища у нас была самая скверная: каждый день одни щи и по маленькому куску говядины, а кашу варили только раз в неделю, в субботу вечером. Иногда нам варили горох. Из-за него раз у нас вышла целая история. Однажды сварили нам его с червями, мы пошли к Фрею и просили его дать нам на ужин селедок, так как горох мы есть не можем, но он отказал. Потерпев здесь неудачу, мы решились отправиться к исправнику, но тут вышло еще хуже — нас отпороли на славу. Летом было особенно плохо, так как капуста была гнилая, мясо — тухлое, хлеб — заплесневевший.

Одежда наша состояла из пальто, полушубка, сапог, башмаков и шапки — вот и весь наряд. Белья нам давали две пары на полгода, переменяли его нам каждую субботу, но, несмотря на это, белье у нас было всегда грязное, так как верхней одежды у нас для работы не было и нужно было работать в одном белье.

В первый же день по прибытии на фабрику белье наше загрязнялось до того, что не было и признака, чтобы оно мылось хотя когда-нибудь. Мы ходили грязные и оборванные. Летом мы еще кое-как перебивались с этой одеждой, но зимою нам было невыносимо холодно, так как одежда у нас была рваная, а полушубок не покрывал и колен, а между тем казарма, в которой мы жили, отстояла от фабрики почти на целую версту; вот тут-то и пробирал мороз.

Я еще не говорил ничего о нашем хозяине Оресте Феодоровиче Кольбе; это был в полном смысле деспот. Однажды мне пришлось попасть к нему в когти. Это было вот как. Раз по окончании работ я пошел с товарищами в мелочную лавку, мы там купили хлеба, масла и еще чего-то, не помню. Лавочник, как это водится, дал нам по папиресе, и мы, закуривши, вышли из лавки, но, как на грех, навстречу нам попался хозяин, который, увидев нас, подозвал меня к себе и спросил, питомец ли я. Получивши утвердительный ответ, он сильно рассердился. «Такой молокосос, а куришь», — закричал он и, обругав меня непечатным словом, схватил меня за волосы и начал бить по щекам. Не ограничившись этим, он подозвал сторожа и велел на другой день привести меня в контору, но, подумав немного, приказал сторожу отвести меня к Фрею и посадить в карцер. Управляющий, узнав в чем дело, удивился и пожалел меня, но ничем дела поправить не мог. Но

этим дело еще не кончилось. На другой день я по ошибке был вызван в контору; узнав от писаря, что он меня не вызывал, я пошел было назад, как вдруг совершенно неожиданно наткнулся на Тринкина. Я испугался не на шутку и хотел увильнуть от этой неприятной встречи, но было уже поздно. Как только я поровнялся с ним, он накинулся на меня и сильно побил. Вот как дорого обошлась мне эта злополучная папироска.

Но жаловаться было некому, да и незачем... Инспектор воспитательного дома господин Безобразов приезжал только раз в году и то никаких жалоб не принимал.

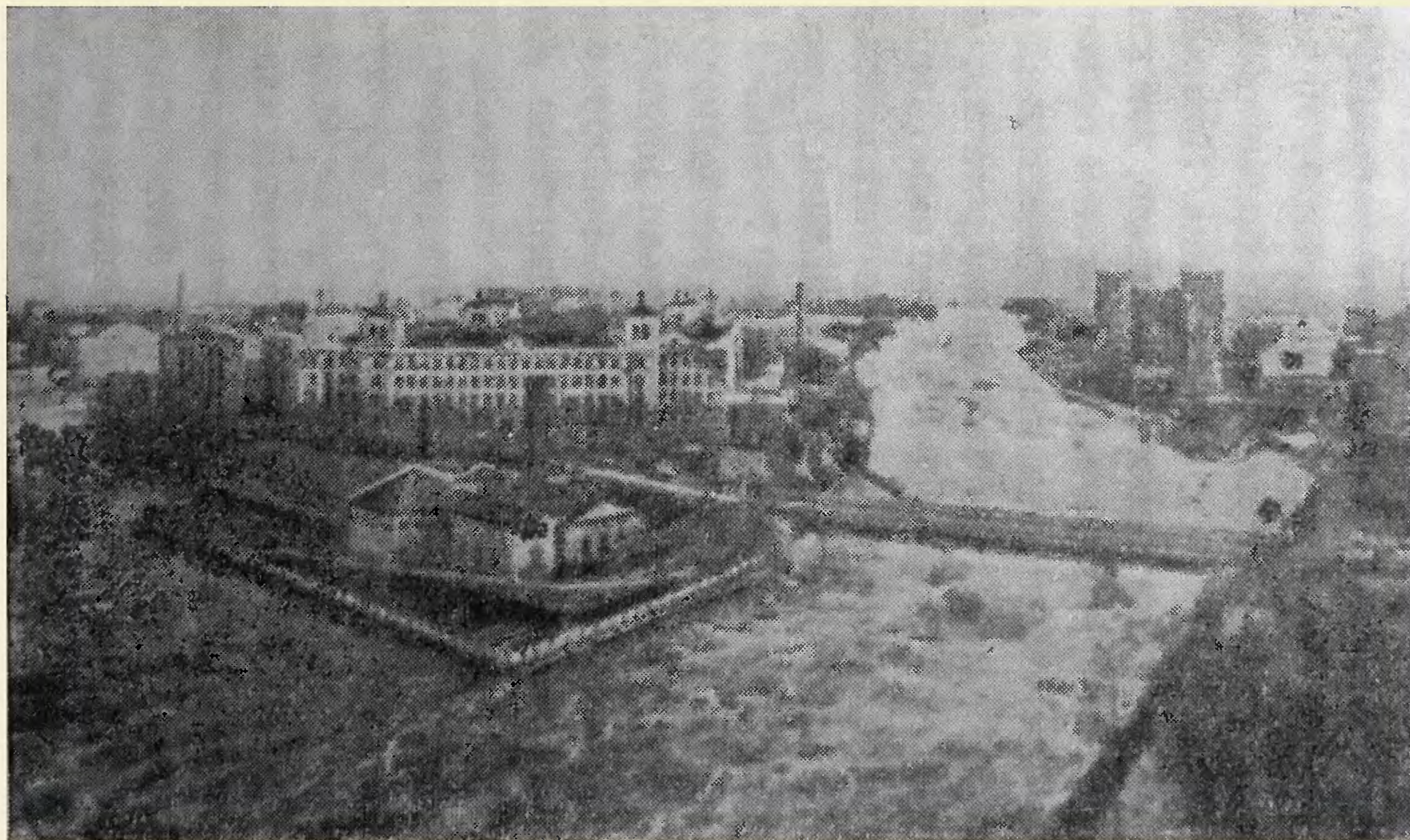
В 68 году, около Рождества, я маслил большой шкаф ватерной машины и попал в нее рукой. Ушиб был настолько силен, что меня отправили в больницу, где я пролежал четыре месяца. По выходе из госпиталя меня по моей просьбе перевели в ткацкую. Здесь мне было немного лучше: я работал на двух станках и зарабатывал от 18 до 22 рублей в месяц. Из этих денег хозяину платил за свое содержание 8 рублей, а остальным покрывал долг, получая на руки лишь 5 копеек с рубля. Долгу к этому времени у меня набралось до 136 рублей.

При поступлении на фабрику директор положил жалованье нам по 4 рубля; из этих денег нам давали лишь 8 коп. в месяц, т. е. по 2 коп. с рубля. За такое жалованье я жил целых четыре года. До шестнадцати

лет с меня хозяин брал за содержание 6 р. 50 к. Поэтому я оставался должен ему каждый месяц по 2 р. 50 к., а иной раз и больше, так как с нас часто брали штраф за разные провинности. и эти штрафные деньги присчитывались к долгу. Когда мне наступил двадцатый год, с меня хозяин стал брать за содержание по 10 руб. в месяц.

Таким-то образом и составился мой долг, на покрытие которого шел почти весь мой заработок. Через три года мне удалось выплатить все, что я должен был хозяину. Но положение мое после этого не особенно улучшилось, так как мне все-таки не выдавали на руки весь мой заработок, а только 10 копеек с рубля, остальные деньги шли в ссудо-сберегательную кассу, и я мог их тратить лишь под контролем хозяина. Из этих денег я мог покупать себе одежду, пищу и другие необходимые вещи. Теперь я ходил постоянно в чистом белье, одежда у нас грязнилась мало, так как в ткацкой работа была чистая.

В 69 году, на третий день Троицы, на нашей фабрике случилось ужасное событие. С моста свалилось в реку 150 человек женщин, некоторых удалось вытащить, но, как говорили, 75 из них пропали без следа. Обстоятельства этого происшествия были следующие: Кренгольмская мануфактура считается самой большой фабрикой в России, здесь в то время работало более 12 тысяч вольного народу. По окончании работ хозяин каждый вечер



Кренгольмская мануфактура

производил строгий обыск рабочим, опасаясь, чтобы они не унесли чего-нибудь с собой из фабрики. Обыск этот производился на мосту, через который проходили на фабрику. Мост этот стоял у самых больших порогов реки, посредине которой стояла фабрика. Помимо моста, на фабрику никакого прохода не было, так как она, находясь на середине реки, была окружена со всех сторон водой. Мост был деревянный и существовал уже с 48 года. Поперек моста стояли четыре рогатки, сквозь которые в четыре ряда проходил народ: через первые две рогатки проходили мужчины, а через остальные две — женщины. Женщин обыскивали сторожихи, а нас, мужчин, — сами сторожа. На третий день Троицы в 69 году случилось, что сторожихи куда-то пропали, и поэтому женщинам пришлось ждать довольно долго, а между тем с фабрики приходили все новые и новые толпы женщин и становились в ряды. Ожидание длилось долго. Наконец, женщины вышли из терпенья, задние нажали на передних, которые, прижатые к перилам, налегли со всей тяжестью на эту гнилую, хрупкую преграду, сломили ее и начали падать в реку. Между тем задние, не зная о случившемся, продолжали напирать... Всех упавших в реку, как я уже говорил, было более 150, и около половины из них были убиты. Как бы вы думали, — было за это что-нибудь хозяину? Нет, он никакой ответственности не подвергся. Это событие возбудило сильное негодование в народе.

В 71 году повторился подобный же случай. У нас строился новый четырехэтажный корпус, он был уже готов, и оставалось только доделать карниз; кругом его высились леса, на которых находилось до 800 человек рабочих. Леса эти, вероятно, были построены очень непрочно, так как в один прекрасный день они рухнули, и все работавшие на них полетели вниз... Многие убились до смерти, многие были покалечены на всю жизнь. Но хозяину, однако, и на этот раз ничего не было. Народное негодование еще более усилилось.

Хотя мы теперь были уже на возрасте, но телесное наказание к нам применялось еще с полной силой. Кто плохо работал, того мастер бил по лицу. Иногда эти побои были очень жестоки; так, однажды он ударил с такой силой одного питомца, что у того сделались нарывы в ушах, он слег в больницу и умер.

Дело было так. У одного питомца, Антона Дмитриева, испортилась машина, и потому работа его получалась плохого качества и попадала в брак. Мастер, не разобрав в чем дело, оштрафовал Дмитриева на три рубля и так сильно избил, что у него сделались нарывы, от которых он сильно страдал. В это самое время приехал к нам Безобразов, и Дмитриев жаловался ему, но его превосходительство Безобразов не обратил никакого внимания на его заявление. После отъезда инспектора болезнь Дмитриева усилилась, и он слег в больницу... Через две недели его не стало... В кассе у него оста-

лось 175 рублей заработанных денег; из этой суммы он завещал 50 рублей — на бедных, 30 рублей — на похороны, остальные же отказал своей названной матери. На другой день доктор вскрыл череп и, вынув головной мозг, убедился, что смерть последовала от побоев. Он донес об этом хозяину, и по этому поводу было назначено нечто вроде домашнего «следствия». Это, как и надо было ожидать, кончилось полным оправданием мастера, который не только не поплатился за свой поступок, но даже остался служить на фабрике, продолжая истязать питомцев. По этому поводу мы еще раз жаловались, когда приехал к нам его превосходительство Безобразов, но он и на этот раз не обратил никакого внимания на нашу просьбу; жаловались ему также на пищу, но и из этого ничего не вышло.

Он сказал, что было бы нам в обед похлебать что-нибудь тепленькое, а вечером можно есть и хлеб с водой.

В казарме житье стало невыносимо: за все — розги да розги. Из тех детей, которые приехали со мною в Нарву, в живых уже нет и половины. Холод и голод свели их в преждевременную могилу. Были у нас протесты и бунты, но они не улучшали нашего положения и обыкновенно кончались поркой. Случались и побеги, но напрасно: бежавших привозили назад из Петербурга и жестоко наказывали. Но так как побег был

единственный исход из нашего невыносимого положения, то я, несмотря на печальную участь своих предшественников, решился бежать.

Дело было так. В ноябре месяце 70 года мне попались худые основы, и потому я не мог сделать назначенный мне урок; мне поставили штраф 2 рубля, я отправился к главному мастеру и показал ему основы, объяснив, что я не виноват, что при таком плохом материале скоро работать нельзя. Он согласился со мною, но когда пришло время призывать в кантору для объяснения причин дурной выработки, в числе других позвали и меня. Здесь главный подмастерье стал рекомендовать меня директору как человека нерадивого, и потому, несмотря на все мои оправдания, директор велел взыскать с меня штраф. Это окончательно взбесило меня и послужило последней каплей, переполнившей мое терпение. Придя из канторы к станкам, я снял ремни и, разыскав в прядильной своего товарища Алексея Егорова, уговорил его бежать со мною в Петербург. Это был самый добродушный человек, каких я только видел на своем веку, но он в то же время был самый несчастливый. За все пребывание на Нарвской фабрике он получил 2000 ударов розгами. Такого человека легко было подбить на побег, тем более что незадолго перед тем временем, о котором я пишу, он только что понес незаслуженную кару, и это еще более усилило раздражение его против фабричного на-

чальства. Дело происходило так. Раз он был шафером на одной свадьбе и гулял там до первого часу. На другой день утром он пошел к доктору, потому что у него болела грудь; доктор, заметив, что от него пахнет водкой, донес об этом управляющему. Это «преступление» последнему показалось настолько серьезным, что он, явившись на фабрику, избил Егорова столь сильно, что тот долго не мог ничего есть. Он оштрафовал его на три рубля и, кроме того, в тот же день, вечером, по окончании работы велел дать ему 40 розог. Я был в то время десятником, а Егоров был у меня в десятке, и поэтому я видел, как его наказывали. Это было ужасно! Ему назначено было сорок розог. Он стонал под ударами палачей... Управляющий и учитель присутствовали при совершении этой операции и хладнокровно разговаривали о чем-то между собой. «Вы хотите убить меня», — прокричал Егоров. «Дать ему еще десять», — спокойно приказал управляющий и продолжал прерванный разговор. Сторожа были рады. Пользуясь тем, что на них не обращают внимания, они вместо десяти придали двадцать, и Егоров получил, таким образом, 60 ударов розгами. Наконец, эта сцена кончилась... Егоров не мог встать с полу и лишь при нашей помощи кое-как добрался до своей кровати; его спина была вся в лоскутьях. •

Вечером того же дня, как меня оштрафовали на 2 руб., мы надели новое чистое платье и, приготовив-

шись таким образом в путь, легли спать под одеяло, чтобы учитель или сторож, которые ходят ночью на поверку, не заметили наших приготовлений к побегу. На другой день утром мы благополучно уехали в Петербург.

III

По приезде на станцию мы наняли извозчика и поехали в воспитательный дом. Приехав к воротам, мы были опрошены часовым, который, узнав от нас, что мы питомцы, велел какому-то солдату провести нас в управление. Здесь нас встретил директор, он снял с нас допрос, и мы подробно рассказали ему, как было дело. Директор, покачав головой, спросил нас, жаловались мы Безобразову? Получив утвердительный ответ, директор попросил нас сесть и подождать Безобразова. Ждать нам пришлось довольно долго. Безобразов явился лишь к шести часам вечера. Мы подробно объяснили ему о своем побеге и о причинах, вызвавших нас на этот поступок. На первых порах Безобразов отнесся к нам сурово и грозил розгами, но эти отношения скоро изменились к лучшему. Егорова повели к главному доктору, который, осмотрев его исполосованную спину, подтвердил справедливость наших слов. Начальство стало относиться к нам с большим доверием и, вероятно, под влиянием доктора приняло

некоторое участие в нашем безысходном положении. Нас повели в отделение, где были наши братья — питомцы. Здесь нам дали ужинать, а после ужина уложили спать.

На следующее утро мы попросили своих новых товарищей показать нам обстановку воспитательного дома и рассказать нам о их житье-бытье. Надо заметить, что там было много взрослых мальчиков и девушек, взятых обратно из деревень в воспитательный дом. К ним-то мы и обратились со своей просьбой. Трое из них были с Егоровым из одной деревни и потому хорошо знали его. Это нам было, как говорится, с руки. Они согласились на нашу просьбу, и мы отправились. Но, чтобы подробно рассмотреть дом, нам нужно было прибегнуть к хитрости, так как в некоторые его отделения, как например в женское, мужчин не пускали. Чтобы избежать этого препятствия, я оделся столяром, а Егоров слесарем, и каждый из нас нес инструменты соответствующего ремесла. Вооружившись таким «паспортом», мы смело отправились в отделение взрослых девиц. У дверей, ведущих в это «святое место», стоял часовой, который, увидя нас, спросил, куда и зачем? Мы идем на «работу», отвечали мы и для большей убедительности показали ему свои инструменты. Часовой, не подозревая обмана, позвонил в колокольчик, и нас пропустили. Это было часов в 8 утра, и наше начальство еще спало. Сестры наши были очень

рады, когда увидели нас. Мы сами рекомендовали им себя как беглецов, и они сожалели, что нас постигла такая печальная участь. Этих девушек здесь учат грамоте и разному рукоделию. Распростившись со своими сестрами, мы отправились в палату своих маленьких братьев-детей. Детям здесь довольно уютно; для каждого ребенка есть особенная кормилица. Кормилица должна кормить ребенка и держать его постоянно в чистоте, за это она получает 10 рублей в месяц. Мальчикам в воспитательном доме живется довольно хорошо, девушкам же значительно хуже. Они сидят взаперти день и ночь, и у всех дверей, ведущих в их отделение, стоят часовые. На прогулку девушек в город пускают лишь один раз в неделю и то с мальчиками, которые за ними смотрят, как тюремные надзиратели за арестантами. Кормят и одевают в воспитательном доме прилично.

На третий день к нам в Петербург приехал из Нарвы наш хозяин г. Кольбе, и нас опять призвали на допрос. Кольбе спросил моего товарища, кто видел, как ему дали 60 ударов? Егоров указал на меня, и я подтвердил справедливость его слов. Тогда нам объявили, что завтра мы едем в Нарву и что Безобразов, отправляющийся с нами, разберет наше дело на месте.

На другой день мы приехали в Нарву. Я не стану описывать, какой допрос был здесь, скажу только что на этот раз нам удалось выиграть наше дело: нас пере-

стали наказывать, уничтожили билеты, прибавили 50 рублей награды тем, кто хорошо работал, а мне возвратили штраф (2 рубля) и заплатили те деньги, которые я издержал на дорогу в Петербург. С десятников меня, впрочем, уволили. Главный результат, которого мы добились, заключался в том, что розги и плети окончательно вывелись из употребления на нашей фабрике и с тех пор все наказания, назначаемые нам за разные провинности, сводились к карцеру и штрафу. Вообще положение наше улучшилось значительно. Мне дали опять мои станки, и я стал снова работать.

Через два месяца меня пустили на вольные харчи, и я стал ходит обедать к одному рабочему. Содержание мне обходилось в 16 рублей в месяц: 6 рублей платил хозяину, 8 рублей за храчи и 2 рубля шли на чай.

IV

Я уже выше говорил о негодовании народа за погибших женщин и каменщиков. Было еще много и других причин, за что народ ненавидел хозяев, но он все терпел и, как говорится, ждал у моря погоды. Так дело протянулось до 72 года, когда терпение рабочих, наконец, лопнуло, и они решились устроить стачку.

Дело было так. Наша фабрика, Кренгольмская мануфактура, существует с 1858 года. Со времени ее от-

крытия работа там происходила при следующих условиях: начиналась она в половине шестого утра и продолжалась до 8 час. вечера. На обед давали 1½ часа; работа была поштучная; куски были по 45 аршин длины, и за кусок, т. е. за штуку, платили по 50 коп.; за ломку машин не штрафовали ткачей. Большой выработки не требовали, а только поощряли ее, давая тому, кто мог сработать 25 кусков в месяц, награду от 5 до 10 рублей. При этих условиях работа продолжалась недолго. Уже в 60 году хозяева, видя, что ткачи выучились отлично работать, начинают вводить одну прижимку за другой. Они уничтожили награды, убавили 5 копеек с куска, чрез несколько времени еще 5 копеек. Это прогрессивное уменьшение платы за кусок хозяин хотел продолжать дальше, но мастер ему это отсоветовал, говоря, что рабочие не станут работать, а можно, мол, того же самого достигнуть на другой манер — увеличить длину куска на 5 аршин. Эта проделка так понравилась хозяевам, что в 72 году куски уже были в 60 аршин длины. Вместе с тем на обед стали давать только час, а работу начинать в 5 часов утра; за всякую ломку машин стали штрафовать. Рабочие давно заметили все эти проделки и только ждали удобного случая, чтобы заявить свой протест.

В 72 году у нас была сильная холера, так что каждый день умирало 45—50 человек. С больными начальство обращалось бесчеловечно. Так, например,

Одного рабочего тащили в покойницкую будку, но на пути оказалось, что он был еще жив. Таких примеров было много, и они, естественно, усиливали негодование рабочих. Но сигналом к стачке, как это часто бывает, послужил сравнительно мелкий факт. Дело в том, что директор, вероятно, ради гигиенических целей приказал отворить на фабрике все окна и при этом заявил, что если кто запрет окно, то тот подвергнется пятирублевому штрафу. В фабрике стало так холодно, что не было никакой возможности работать. Мы целой толпой отправились к директору. Директор встретил нас довольно ласково и спросил о причине нашего прихода. Мы прежде всего заявили наш протест насчет окон, на что директор очень вежливо ответил, что он желал нам только одного добра и ради нашей же пользы велел провентилировать фабрику, но что если нам это не нравится, то он прикажет затворить окна. Но мы этим не удовлетворились. Мы значительно расширили свои требования и стали настаивать, чтобы хозяин восстановил те условия работы, которые существовали при основании фабрики. Директор задумался. Минут через десять он вышел к нам и объявил, что так как он такой же подневольный человек, как и мы, то он от себя многого сделать не может, что пока он нам разрешит только начинать работу позднее на $\frac{1}{4}$ часа, прибавит нам на обед 15 минут и дозволит носить с собой завтрак на фабрику, что нам строго запре-

щалось. О наших же требованиях он обещался объявить хозяевам. В заключение он просил нас подождать неделю, мы согласились и отправились на работу.

Миновала неделя, а ответа от наших хозяев все еще не было. Вновь мы собрались толпой и, придя к директору, стали требовать своих прав. Но на этот раз директор совершенно изменил свою тактику: он закричал на нас, говоря, что мы должны быть довольны тем, что уже получили от него, и приказал нам идти работать. Но рабочие отказались повиноваться его приказанию, продолжали настаивать на своих требованиях. Директор рассердился и ушел, оставив нас в конторе. Между тем движение наше разрасталось все больше и больше. До сих пор в стачке участвовали одни ткачи, но в этот день прядильщики, узнав наши требования, остановили свои машины и присоединились к нам. Таким образом, мы все вместе, ткачи и прядильщики, дожидались в конторе. Часов в 12 к нам явилось начальство: директор и жандармский полковник с жандармами. Они просили нас заявить им о своих требованиях, что и было нами исполнено. После этого Кольбе стал просить нас идти на работу, обещая дать нам 2 часа на обед, а об остальном известить нас через неделю. Мы согласились ждать. Через неделю к нам действительно приехал из Ревеля губернатор. Он пошел по фабрике и давал нам рукой знак следовать за ним в контору. Мы

остановили станки и отправились вслед за ним. Губернатор просил нас выбрать из своей среды 40 человек, чтобы переговорить с ним о нашем деле. Мы исполнили эту просьбу, и губернатор удалился с нашими выборными в директорскую контору, а мы остались в хозяйской конторе в ожидании результата переговоров. Через некоторое время совершенно неожиданно для нас к нам снова явился губернатор и, приняв суровый вид и топнув ногой, закричал на нас грозным голосом: «Марш на работу», но в ответ на это раздались свистки, насмешки... Губернатор сильно разгневался, говоря, что он поедет в Петербург и, приведя три полка солдат, накажет всех бунтовщиков. Но все было напрасно — рабочие смеялись на его угрозы. Губернатор, видя, что это не помогает, переменил свой тон и стал нас расспрашивать о причинах нежелания идти работать.

Мы заявили ему о своих желаниях и потребовали освобождения наших выборных, которые были заперты в конторе, так как мы боялись, чтобы они не были арестованы. Последнее наше требование было немедленно исполнено. Отпуская наших выборных, губернатор просил их уговорить других рабочих идти на работу. Просьба их подействовала, и мы ушли работать, между тем выборные остались, чтобы совещаться с губернатором. К вечеру совещания кончились, и наши выборные объявили нам те льготы, на которые согла-

силсья и губернатор. Правила, данные нам, были следующие: 1) ткач должен сработать в день 90 аршин полотна на двух станках, т. е. 45 аршин со станка; 2) работа должна начинаться утром в $\frac{1}{4}$ шестого, но рабочие могут приходить и в $\frac{1}{2}$ шестого, не подвергаясь штрафу; 3) на обед давать $1\frac{1}{4}$ — с 12 до $1\frac{1}{4}$, но мы могли приходить и в $\frac{1}{2}$ второго; 4) за повреждение машин не взыскивать штрафа; 5) завтрак позволить носить на фабрику. Этими новыми правилами мы остались довольны. Но Кольбе они не понравились, и он, желая повредить нашему делу, подкупил десять человек прядильщиков и, дав им по 10 рублей, заставлял их подписать какую-то бумагу. Дело это велось, конечно, в глубочайшей тайне, но ткачам, однако, удалось вовремя проведать о нем. Ткачи, первые узнавши об измене, бросились в трактир, где собрались предатели. Но им не удалось захватить врасплох изменников, которые, заметив их приближение, успели уничтожить бумагу, содержания которой так и не узнали.

Этот случай послужил поводом к возобновлению стачки.

На другой день утром мы выбрали шесть человек и отправили их в город к жандармскому полковнику. Полковник, выслушав их, велел им прийти к себе в 6 часов вечера, но когда они явились в назначенное время, полковник принял их сурово и велел арестовать

одного из них; остальные пять человек заявили полковнику, что он должен арестовать и их, что они не оставят своего товарища и не уйдут без него.

Полковник арестовал и их. Все они были посажены в тюрьму. Об этом происшествии на фабрике узнали только на второй день. Тотчас же все машины были остановлены, и рабочие бросились к Кольбе и стали требовать освобождения товарищей. Он сперва объявил, что ничего не знает об их судьбе, но потом после долгих наших требований прибавил, что товарищи наши не возвратятся. Услышав это, мы немедленно все ушли с фабрики с твердым намерением не возвращаться на работу до тех пор, пока не выпустят арестованных товарищей.

После обеда мы все собрались у моста, через который ходили на фабрику. Уж было 2 часа, когда к нам явилось начальство. То были Кольбе, исправник и директор. Они стали уговаривать нас идти на работу, но мы отказались исполнить их просьбу до возвращения арестованных товарищей. По уходе начальства мы решились идти в город, чтобы требовать освобождения наших выборных.

Когда мы пришли туда, то увидели своих товарищей. Они сидели в полиции. Мы стали требовать, чтобы их выпустили, но нам отказали, и жандармский полковник, явившийся к нам, заявил, что они будут отправлены в Ревель. Так как уже наступил вечер и ра-

бочие чувствовали усталость, то они не стали ломать полицию и воротились домой.

На возвратном пути из города нас встретил мальчик, который сообщил нам, что хозяин с жандармами, воспользовавшись нашим отсутствием, били женщин и детей и посадили их в карцер и подвалы, заставляя их работать. Мы поспешили к ним на выручку. Слова, сказанные мальчиком, оправдались.

Это возмутило нас всех до крайности, и мы, не помня себя от гнева, начали бить все, что только попало под руки. Первым пострадал карцер, потом подвалы, где были посажены женщины, затем мы проникли в хозяйский дом и переломали там мебель, выбили окна. Мы искали хозяина, но не могли найти; как потом мы узнали, он спрятался в городе.

Для нашего усмирения скоро явились войска... Мы приготовились к защите и разделили свои силы на три партии: первая партия состояла из 2000 человек и должна была отправиться на вокзал и следить там, чтобы арестованных товарищей не увезли в Ревель; вторая партия должна была стоять на мосту и не пускать никого на фабрику, она состояла из 4000 человек; наконец, третья партия состояла из 6000 человек и обязана была охранять женщин и детей от солдат.

Так мы провели ночь...

На другой день солдаты по приказанию начальства стали гнать нас на работу. Начались схватки меж-

ду нами и солдатами. Хотя солдат был целый полк, но так как им не приказано было стрелять, то они не смогли с нами справиться. Их били камнями, ломали их ружья... Схватки продолжались целый день.

Вечером к нам опять приехал губернатор и с ним еще полк солдат. На третий день губернатор стал производить следствие. На следствие привлекли тех, кого заметили во время схватки с солдатами, привлекли сорок выборных, о которых я говорил выше, и других выборных, шесть арестованных в городе и двух изменников, державших сторону хозяина. Через 7 дней следствие кончилось.

Последствия были следующие: 1) Кольбе велено было оставить Нарву навсегда; 2) фельдшер, который дурно обращался с больными во время холеры, тоже должен был оставить Нарву; 3) введены были те правила, которые дал губернатор в первый раз нам и о которых я уже говорил; 4) 63 человека были арестованы и отданы под суд, в числе их были арестованные в городе. Из них суду были преданы только 26 человек. Дело их разбиралось в старом суде в Ревеле. Трое из них были приговорены к каторжным работам на восемь лет, в числе их был один питомец — Николай Богданов; ему оставалось всего 16 дней до выхода из разряда питомцев. Через 16 дней он был бы вольным человеком, но он ударил часового и за это пошел на каторгу.

Остальных подсудимых сослали в Архангельскую губернию, некоторых на один год, других — на полгода².

Ткачи, несмотря на аресты, хотели продолжать стачку, но прядильщики взялись за работу, и ткачи должны были последовать их примеру.

Фабрика простояла только неделю.

В последних числах декабря 72 года меня последний раз посадили в карцер за то, что я целых трое суток не работал и не ночевал дома; это была последняя кара, постигшая меня на Нарвской фабрике. На этот раз я действительно был виноват.

Дело было так. Я был приглашен одним питомцем на его свадьбу в качестве шафера. Пошел я на эту свадьбу без дозволения учителя. Учитель обиделся и послал за мною сторожа с приказанием явиться домой, но я не обратил внимания на его приказание. Прогулял я на свадьбе трое суток. На четвертый день утром на квартиру жениха явились 4 сторожа. Они объявили мне, что их прислал сам хозяин, чтобы меня отвести домой. Меня сейчас же засадили в карцер.

На этот раз я там просидел целую неделю, но теперь мне здесь было не так плохо. Тот рабочий, у которого я был на харчах, приносил мне пищу с воли. Рядом со мной в другом карцере сидела одна девушка, воспитанница. Ее посадили тоже за свадьбу. Мы постоянно беседовали, и нам не было скучно.

1 января 73 года я был на свободе. Простившись со всеми старыми друзьями, я уехал из Нарвы, может быть, навсегда.

Егоров вышел на волю одним годом раньше меня и женился на одной швее. Он остался жить в Нарве...
Теперь я вольный...

V

По приезде моем в Петербург у меня была небольшая сумма, которую заработал еще в Нарве. Из кассы я получил 250 руб. да при выходе на волю получил с воспитательного дома 81 руб. наградных, всего 331 руб. Благодаря этим деньгам я мог не спеша присмотреться к быту петербургских рабочих и подыскать себе прибыльное занятие. С этой целью я переходил с фабрики на фабрику. К этому же времени относится мое первое столкновение с социалистами. Переходя с места на место и толкаясь между рабочим людом, я узнал от последнего, что за Невской заставой была школа, где главную роль играл С.³ Я желал попасть в эту школу, но это мне не удалось, так как С. был вскоре арестован, и его школа прекратила свое существование. Таким образом, мне на этот раз не удалось ближе сойтись с социалистами, учение которых в то время сильно интересовало меня. Но случай скоро помог мне удовлетворить моему любопытству.



В. М. Дьяков

Летом 74 года я жил на даче Бабунова. Здесь я познакомился с Дьяковым⁴ и скоро сошелся с ним. По вечерам и воскресным дням у нас часто собирались сходки рабочих. Я быстро усвоил идеи социалистов и горячо отдался их делу.

Их идеи мне были не чужды. Брошенный родными, принужденный с малых лет скитаться по чужим людям, переносить всевозможные невзгоды, я сознавал все несовершенство существующего строя. Я видел, как гибли мои братья и сестры на Кренгольмской мануфактуре, и я не мог оставаться равнодушным зрителем их гибели. Я приведу здесь один факт, который произвел на меня потрясающее впечатление. В 64 году вместе со мной на фабрику была привезена одна девушка, которая воспитывалась в 17 верстах от нашей деревни. Ее звали Ольгой. На фабрику она приехала красивым и вполне здоровым ребенком. В первое время по приезде я потерял ее из виду, и только спустя три недели я встретил ее случайно, когда шел на работу. Я был поражен страшной переменой, которая произошла в ней за эти 20 дней. От прежней Ольги не осталось и следа. Она страшно исхудала, вместо яркого румянца на щеках у нее выступили черные пятна, щеки ее впали, ее прекрасные волосы были в беспорядке, ее глаза потускнели, и у нее так сильно болели ноги, что она едва могла ходить... Платье ее было грязно, на голове не было платка...

Не нужно было быть пророком, чтобы предвидеть, что она недолго проживет при этих условиях, недолго будет мучиться.

И действительно, спустя две недели после нашего свидания ее не стало... Вот вам один факт, но я мог бы

привести их сотню. В часы досуга я часто задумывался над этими фактами, проводя параллель между условиями, окружавшими нас, и условиями, при которых жили наши хозяева-фабриканты, питающиеся нашей кровью, заедающие нашу жизнь в буквальном смысле этого слова. Я сознавал ненормальность, несправедливость этого порядка вещей... Я только не знал, как выйти из этого положения, чем заменить его?

По совету Дьякова я оставил работу и все свое время посвятил на пропаганду между рабочими, среди которых у меня было обширное знакомство. Кроме этого, я часто ходил в Московский полк, где между солдатами велась деятельная пропаганда. Дело наше шло успешно, но несколько промахов, сделанных некоторыми из нас, скоро погубили его. Среди нас оказались шпионы, которые доносили на нас правительству... Эти лица были следующие: Матвей Тарасов, Павел Александров, Никифор Кондратьев, бомбардир Антон Андреев и его брат Яков Андреев. Узнав, что меня уже ищут, я хотел уехать в Выборг, но на станции Финляндской железной дороги был арестован сыщиком Назаровым. При мне нашли книги революционного содержания и фальшивый паспорт. Это было 11 апреля 75 года. На первых порах меня поместили в III Отделении. Скоро арестовали и моих товарищей: Дьякова, Сирякова и Александрова⁵.

О тюремной жизни я не буду много говорить.

Через три недели следствие по нашему делу кончилось, и меня перевели в Литовский замок.

Здесь с меня сняли мое платье и надели арестантское. Когда я получил свой новый костюм, надзиратель поместил меня в секретную, на темную половину. На другой день я узнал, что в том же помещении сидят Дмоховский⁶, Долгушин⁷, Папин⁸, Плотников⁹ и другие. 16 июля того же 75 года меня привезли в Сенат на суд. Здесь я встретил своих друзей. Нас было восемь человек: Дьяков, Сиряков, Ельцов, Вячеславов, Янсон, Зайцев, Александров и я. На другой день, вечером, нам прочитали приговор. Меня приговорили в каторжную работу на 9 лет, Дьякова — на 10 лет, Сирякова — на 6 лет, Александрова — на 9 лет, Янсона и Зайцева — в арестантские роты на один год и на 9 месяцев, Вячеславова и Ельцова под арест — одного на 10 дней, а другого — на 7 дней.

После суда меня привезли обратно в Литовский замок. Здесь меня посадили вместе с Малиновским¹⁰, но с ним я сидел недолго. Меня перевели в дом предварительного заключения.

Через месяц я снова был переведен в Литовскую тюрьму и был посажен на светлую половину. Октября 25 меня в первый раз заковали в кандалы и на другой день повезли на эшафот. Мы ехали втроем: Дьяков, я и Александров; на груди у нас были привешены черные доски, на которых было написано: «За государствен-

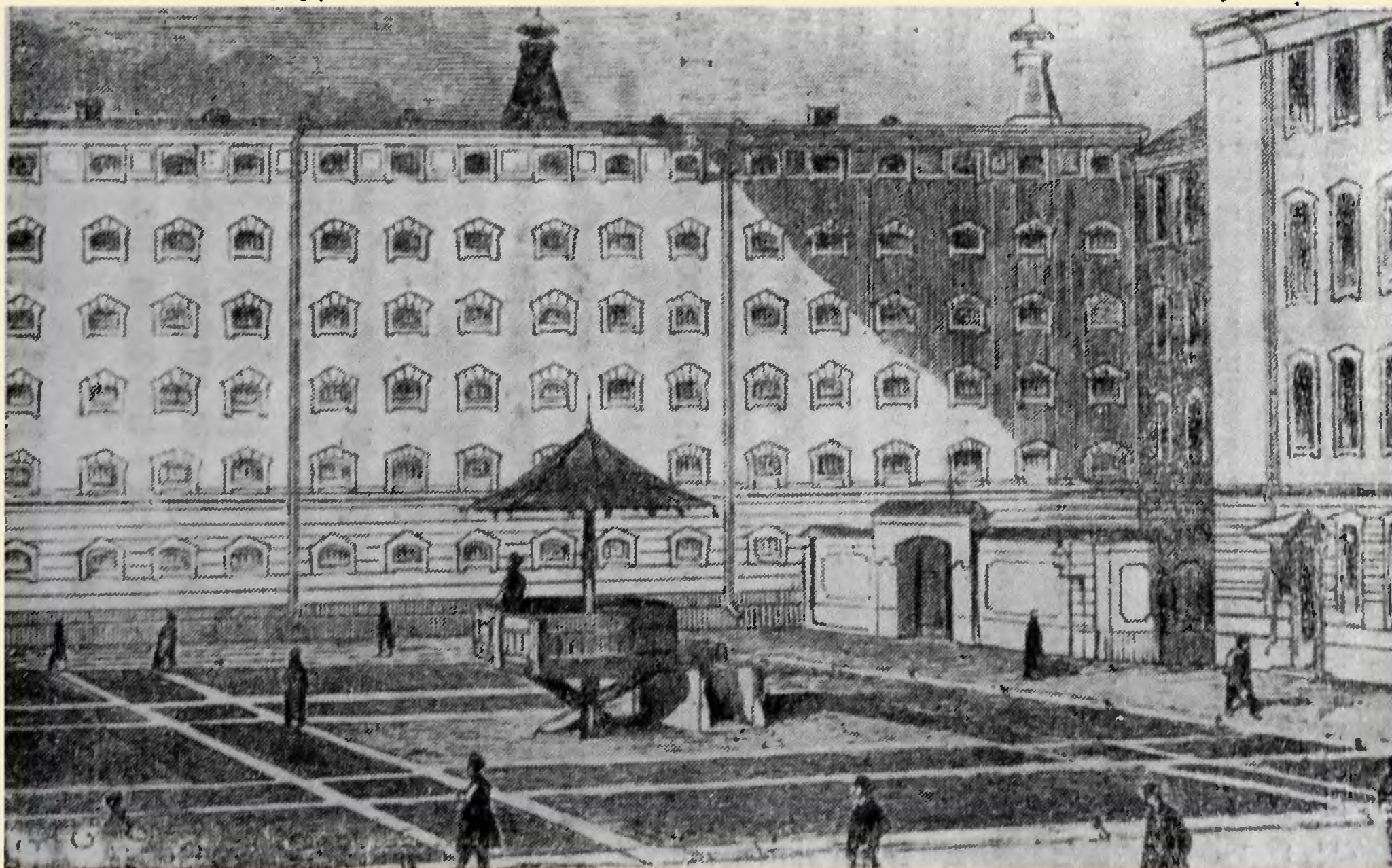


Д. А. Александров

ное преступление». С нами ехали два палача и священник. Прибыв на эшафот, палачи отвязали нам руки и ноги, которые были связаны ремнями, и помогли нам спуститься на землю. К нам подошел священник и, сказав нам вместо наставления: «Вы люди грамотные и знаете сами, что творите», поднес нам крест. Затем

к нам снова приступили палачи и, взяв нас за руки, повели на эшафот. Здесь был секретарь Сената и товарищ обер-прокурора, который нас обвинял. Секретарь прочитал приговор суда. Палачи подвели нас к позорным «столбам» и приковали к ним. Мы стояли недолго. Дьяков хотел закричать: «Долой деспотизм, да здравствует социальная революция!» Но не успел он разинуть рта, как забили барабаны, и палачи схватили нас и потащили в карету. По приезде в тюрьму с меня сняли кандалы. Я был посажен с Дьяковым, а на прогулку нас пускали всех вместе. 4 февраля 76 года нам обрили половину головы, заковали в кандалы и отправили в Харьковскую центральную тюрьму. Нас везли ночью, по одному. Через четверо суток я прибыл в Харьков. Пробыв тут три дня, я был повезен в Новоборисоглебскую центральную тюрьму. Я приехал туда 14 февраля 76 года.

В приемной меня раздели, обыскали, смерили мой рост и записали приметы. Затем мне дали каторжную одежду и постилку, на которой я должен был спать. Постилка эта 1½ аршина длиной и ½ аршина шириной. Получив все это, я был отведен в камеру. Прежде всего, что поразило меня здесь, — это отсутствие постели. Я спросил у надзирателя: где постель? Он с улыбкой указал на мою постилку и объявил, что больше ничего не полагается. По уходе надзирателя я стал стучать в стену, желая узнать, кто сидит рядом. Но



Дом предварительного заключения в Петербурге

ответа не было. На досуге я измерил свою камеру. Она имела $3\frac{1}{2}$ шага длины и два шага в ширину. В тот же вечер я узнал, что вместе со мною сидят Папин, Плотников и Александров, привезенные туда одновременно со мною.

В это время из политических в Андреевской тюрьме, кроме нас, никого не было. Сношения между нами все-таки были постоянными.

Жизненные условия были самые отвратительные, какие только можно себе представить. Одиночное заключение, невыносимое само по себе, отягчалось еще более отсутствием книг, которых нам сперва не давали. Пища была очень плохая. Утром нам давали $2\frac{1}{2}$ фунта хлеба, на приварок к обеду полагалось всего $1\frac{1}{2}$ коп., на ужин нам давали только маленькую кружку квасу. Гуляли мы по одному $\frac{1}{2}$ часа в день. Смотритель был человек порядочный, и потому тюремная администрация обращалась с нами довольно деликатно. Через год и четыре месяца нас перевели в Новобелгородскую, такую же каторжную тюрьму. Дорогой мы шли вместе, нам было довольно весело, но это продолжалось недолго.

По прибытии на место нас опять посадили по одному в камеру, и жизнь наша потекла по прежней однообразно скучной колее.

После заточения нас на новом месте нам дали некоторые льготы. Мы могли говорить друг с другом, и я

мог узнать всех своих товарищей. Но не все из нас выдержали 1½ года нашей каторжной жизни... Дьяков был чуть жив, Малиновского и Гамова не стало... Они умерли. Осенью 77 года к нам скоро привезли новых товарищей, и мы узнали от них много нового. Нам дозволили даже носить пищу с воли, и мы пользовались этим правом в широких размерах благодаря Настасье Васильевне Дмоховской¹¹, матери одного из моих товарищей, жившей около нашей тюрьмы. Эта женщина обладала доброй душой. Она употребляла все свои силы, чтобы только помочь нам, и с этой целью ездила несколько раз к харьковскому губернатору и в Петербург. Но это золотое время длилось недолго. Благодаря усилиям смотрителя, делавшего на нас постоянные доносы харьковскому губернатору, скоро лишили нас всех льгот, а Настасью Васильевну выслали в Харьков.

Смотритель Грацилевский был настоящий зверь. Он обращался с нами очень грубо и жестоко: он, например, за то, что я не хотел встать на поверку по прибытии моем в эту тюрьму, на третий же день посадил меня на хлеб на воду, давая лишь ¼ фунта хлеба в день. Так я просидел три дня.

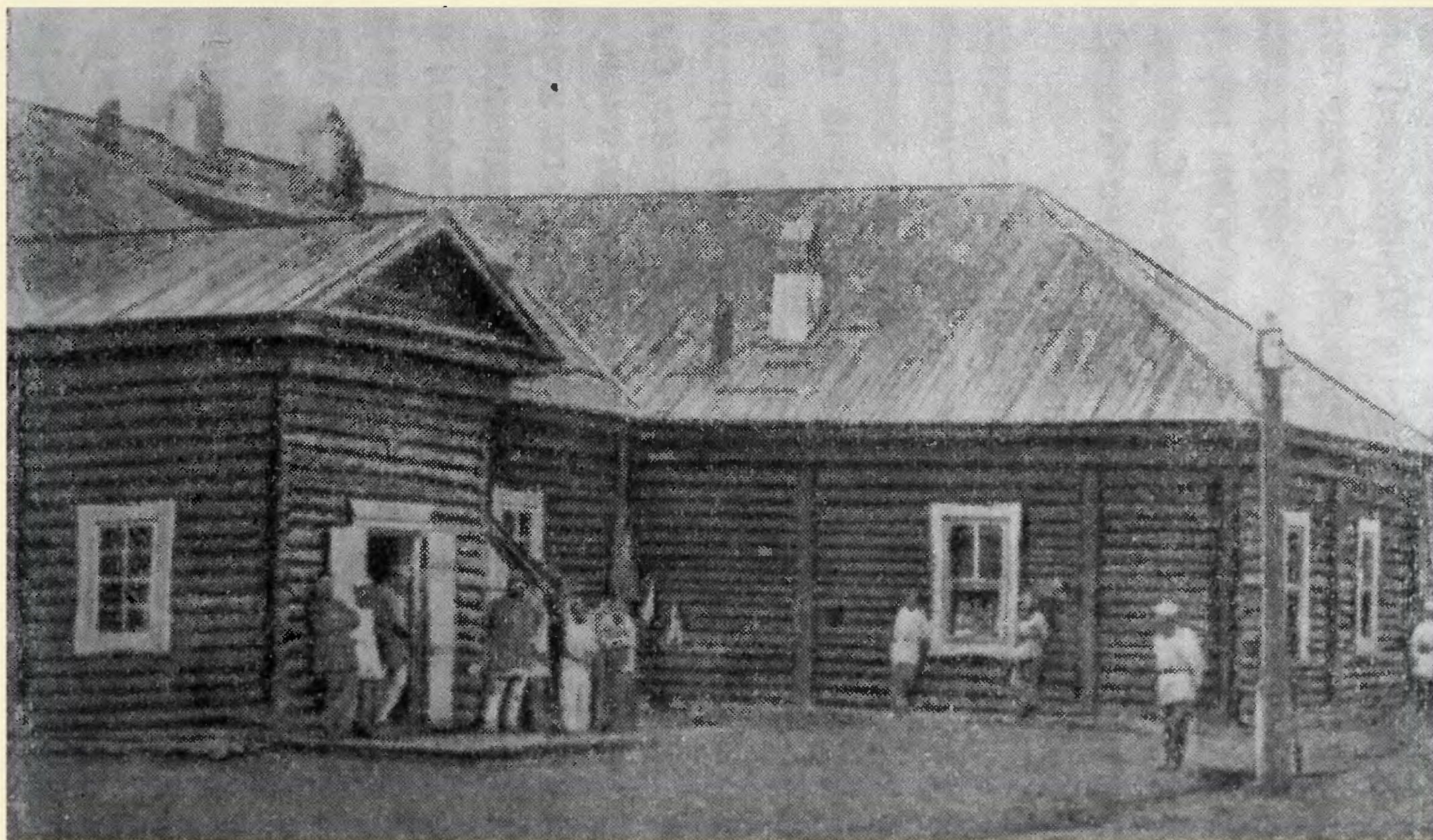
Я не буду описывать всех страданий, которые мы выносили за время нашего пребывания в стенах харьковских каторжных тюрем. О них довольно красноречиво говорит масса наших товарищей, нашедших в этих стенах преждевременную могилу или сошедших с ума.

Наши страдания еще более усилились благодаря тому обстоятельству, что мы не знали, на какой срок мы были посажены в эту смертельную тюрьму. Смотритель Литовского замка при отправлении Долгушина и его товарищей в центральную тюрьму сказал им, что они будут сидеть там вечно. Наше тюремное начальство и харьковский губернатор, отвечая на наши вопросы, говорили, что им неизвестно, как долго продлится наше заключение, и мы думали, что будем сидеть без срока, вечно! Только спустя пять лет, когда кончился срок Папину и он был отправлен в Сибирь, наши подозрения рассеялись, и мы стали питать надежду выйти когда-нибудь из опостылевшей тюрьмы.

10 октября 80 года нам объявили, что нас всех через трое суток увезут. Для нас это было совершенно неожиданно, и мы так обрадовались, что даже забыли спросить, куда нас везут. Да, впрочем, для нас было безразлично, куда бы ни отправили, лишь бы только вырваться из ненавистой тюрьмы. Через три дня мы действительно были уже на пути в Харьков. Нас поместили в Орловской губернии, в городе Мценске, в так называемую вторую политическую тюрьму.

Здесь нам было довольно льготно. 18 мая 81 года нас увезли в Сибирь.

До Томска я ехал благополучно, но здесь заболел и принужден был остаться. Товарищи же мои поехали дальше, на Красноярск. В Томске, впрочем, я остался



Каторжная тюрьма на Каре

не один. Кроме меня здесь остался еще Александр Осипов¹² (тоже централист) и Вера Павловна Рогачева¹³ с маленьким своим сыном Сережей. Сереже только что пошел тогда второй год. Я сильно подружился с Сережей, с этим маленьким ангелом и моим первым другом. Он уже второй раз путешествует в Сибирь вместе со своей матерью. Теперь он был сильно болен, и мать отчаялась в его выздоровлении.

В Томске мы прожили не больше двух недель. Здоровье Сережи поправилось, несмотря на гигиенические условия, при которых нам пришлось там жить.

Мы помещались в местной пересыльной тюрьме, и там было такое громадное количество блох, что от них не было покоя ни днем, ни ночью. Скоро приехала новая партия политических, и в этой партии был брат Рогачевой, Карпов¹⁴, высланный административным порядком в Сибирь. С ним ехала его жена и маленький сын. В первый день нас не соединили с приехавшими товарищами, но так как мы сидели в смежных камерах, то могли переговариваться с ними. Это почему-то не понравилось начальству, и нас хотели перевести в другую камеру. Мы протестовали, но нас перевели силой. Впрочем, на другой день начальство одумалось и поместило всех нас в одну камеру. Дня через два нас отправили в Красноярск, где мы догнали партию, с которой ехали до Томска. В Красноярске мы пробыли две недели, а затем отправились в Ир-

кутск. Мой маленький друг Сережа остался в Красноярске по болезни. Он, вероятно, не перенес бы того дальнего пути, какой нам предстоял.

Прощай, мой друг, целую тебя...

Там еще остался Карпов с женой и некоторые другие из моих товарищей.

В Иркутск мы приехали 21 сентября 1881 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Крензольмская мануфактура*, принадлежавшая акционерному товариществу, в котором значительную роль играл английский капитал, была основана в г. Нарве (ныне Эстонская ССР) в 1857 г. В то время это была одна из крупнейших бумагопрядильных фабрик России. Число постоянных рабочих на ней достигало 5 тыс. человек — эстонцев и русских. Рабочие находились в полной зависимости от хозяев, которым по уставу 1857 г. была предоставлена судебно-полицейская власть. Это давало хозяевам мануфактуры возможность неограниченной эксплуатации рабочих и оставляло безнаказанными зверскую жестокость и преступления фабричной администрации.

² Более точные сведения о приговоре над главными участниками стачки содержатся в донесении начальника Эстляндского губернского жандармского управления шефу жандармов: «По этому приговору присуждены: в каторжную работу 6 человек, из коих трое в рудники на 8 лет; один в крепости на 8 лет; один в крепости на 6 лет и один на заводы на 4 года. На поселение в отдаленные места Сибири — один человек. В арестантские роты — трое на 2½ года и трое на 1 год. К тюремному заключению — 14 человек, из коих один на 1 год и 4 месяца; двое — на 8 месяцев; пятеро — на шесть месяцев и шестеро — на три месяца. («Рабочее движение в России в XIX веке», т. II, ч. 1, стр. 350.)

³ *Синегуб, Сергей Силович (1851—1907)* — революционер-народник. В 1871—72 годах вел пропаганду среди рабочих Петербурга. В начале 1873 г. работал народным учителем в с. Губин-Угол (Корчевский у., Тверской губ.), где вел пропаганду среди крестьян. Летом 1873 г. возвратился в Петербург, был активным организатором рабочих кружков за Невской заставой. 12 ноября 1873 г. С. С. Синегуб был арестован. 23 января 1878 г. был приговорен к лишению всех прав состояния и к каторжным работам в крепостях на 9 лет. Каторгу отбывал на Каре. Находился на поселении в Чите. Умер в Томске.

⁴ *Дьяков, Вячеслав Михайлович (1854—1880)* — революционер-народник. По окончании Вологодской духовной семинарии поступил в Петербургский университет. С декабря 1874 г. под именем Василия Михайлова совместно со студентом А. И. Сиряковым и рабочими В. Герасимовым и Д. Александровым вел революционную пропаганду на фабрике Чешера и в казармах Московского полка. Дьяков был арестован в Петербурге 12 апреля 1875 г. Приговорен к 10 годам каторжных работ. Умер от туберкулеза 28 сентября 1880 г. в Новобелгородской каторжной тюрьме.

⁵ *Александров, Диомид Александрович (1850—1925)* — рабочий-революционер. С 11 лет работал на Кренгольмской мануфактуре. В начале 1870-х годов работал на петербургской фабрике Торнтон. В 1873 г. участвовал в кружке Синегуба за Невской заставой; в конце этого года познакомился с В. Дьяковым. В 1874—1875 годах работал ткачом на фабрике Чешера, вел революционную пропаганду среди рабочих и солдат. Арестован 18 апреля 1875 г. в казармах Московского полка. Приговорен к 10 годам каторжных работ. До октября 1880 г. содержался в Новобелгородской каторжной тюрьме. Затем был отправлен в Мценскую пересыльную тюрьму. В феврале 1882 г. прибыл на Кару. Поселение отбывал в Якутской области.

⁶ *Дмоховский, Лев Адольфович* (1851—1881) — революционер-народник, член кружка долгушинцев. Арестован 27 сентября 1873 г., приговорен к каторжным работам в крепостях на 10 лет. Находился в Новобелгородской и Мценской каторжных тюрьмах. Умер от оспы в Иркутской тюремной больнице.

⁷ *Долгушин, Александр Васильевич* (1848—1885) — революционер-народник, организатор кружка долгушинцев. Арестован 16 сентября 1873 г. Приговорен (15 июля 1874 г.) к каторжным работам в крепостях на 10 лет. В 1875—1880 гг. находился в Новобелгородской каторжной тюрьме. Умер 30 июня 1885 г. от туберкулеза легких в Шлиссельбургской крепости.

⁸ *Папин, Иван Иванович* (род. в 1849 г. — год смерти не установлен.) — член кружка долгушинцев.

⁹ *Плотников, Николай Александрович* (1851—1886) — революционер-народник, участник долгушинского кружка. Арестован 18 сентября 1873 г., приговорен к каторжным работам на заводах на 5 лет. Находясь в заключении в Новобелгородской и Мценской каторжных тюрьмах, заболел психическим расстройством. Умер 20 июня 1886 г. в Казанской психиатрической лечебнице.

¹⁰ *Малиновский, Марк Прохорович* (1851—1877) — рабочий-революционер. В начале 70-х годов вел пропаганду среди рабочих Петербурга. 15 ноября 1873 г. был арестован, приговорен к каторжным работам на заводах на 7 лет. Умер в Белгородской каторжной тюрьме.

¹¹ *Дмоховская, Анастасия Васильевна* — мать Л. А. Дмоховского.

¹² *Осипов, Александр Осипович* — рабочий-революционер. В 1874—1875 годах вел пропаганду среди рабочих Петербурга и Кренгольмской мануфактуры. Арестован в Петербурге в 1875 г. Приговорен к каторжным работам в крепостях на 9 лет. Содержался в Новобелгородской и Мценской каторжных тюрьмах. В феврале 1882 г. прибыл на Кару. Отбывал поселение в Якут-

ской области. В 1894 г. получил разрешение жить в Якутске. После Октябрьской революции — пенсионер, член Общества политкаторжан.

¹³ *Рогачева (урожденная Карпова), Вера Павловна* (1851— умерла в 1890-х годах) — революционерка-народница. В 1879 г. выслана в Сибирь. В феврале 1882 г. вместе с мужем Д. М. Рогачевым прибыла на Кару. Умерла в Иркутске.

¹⁴ *Карпов, Евтихий Павлович* (1857—1926) — революционер-народник. В 1880 г. выслан в Сибирь. В 1881 г. находился в Красноярске. 19 августа 1881 г. ссылка в Сибирь была заменена проживанием под гласным надзором в Вологде. С конца 1880-х годов Е. П. Карпов работал в Петербурге сначала режиссером народного театра за Невской заставой, а позже режиссером в Александринском и Малом театрах.

Герасимов Василий Герасимович
ЖИЗНЬ РУССКОГО РАБОЧЕГО

Редактор *Л. Лазаревич*

Художник *С. Сергеев*
Художественный редактор *В. Журавский*
Технический редактор *О. Чепелева*
Корректор *М. Пияшева*

Сдано в набор 9 апреля 1959 г. Подписано
печать 22 июня 1959 г. Формат бумаги
70×108^{1/32}. Бумажных листов 1. Печатных ли-
стов 2,74. Учетно-издательских листов 1,96.
А05214. Тираж 50 000 экз. Цена 45 коп. Зак. 454.

Издательство
социально-экономической литературы

Москва, В-71. Ленинский проспект, 15.

Тип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

9-02
45 коп.